

...На сто третьем году жизни Анисим Жданов, вековечный рыбак из Яравны, тайком от домоладцев наладился удить рыбу: дивья полны коробья...

Лета два, о рыбалке не загадывая, полёживал на печи, грел настывшие за долгий рыбацкий век, отсыревшие кости, молился до вечёрошней звезды Спасу и Николе, рыбацкому заступнику, а тут как приспичило, будто Святой Угодник поманил, – отвеслился подальше на долблёном кедровом батике* и против заимки опустил бархак**...

От Рождества Христова в тысяча шестьсот сорок седьмое лето атаман Василий Колесников пришёл в Енисейск, откуда пошёл с ватагой в Верхнеангарский острог и на Яравня-озеро, где, толмачили тунгусы, кочуют мунгальские*** племена, богатые серебром. Полонённый тунгус Катуга посулился провести казаков к берегам Яравня-озера. Атаман Колесников согласился,

* Батик – маленькая плоскодонная лодка.

** Бархак – камень, железяка, заменяющая якорь.

*** Мунгалы – так русские величали все монголоязычные племена.

но оставил в залог аманатов – Катугину тунгуску с чадами. Пленённый тунгус Катуга петлистыми таёжными тропами вывел казачью ватагу к берегам Яравня-озера, но даже старых следов мунгальского житья и жилья казаки не нашли. В том же тысяча шестьсот сорок седьмом году послал государь казачего десятника Кольку Иванова Москвитина с сотником Ивашкой Ортеньевым и служивым человеком Ивашкой Самойловым «из Байкала-озера, из Ангарского острожку по Баргузину реке и на Яравны озеро проведывать серебряной руды и где серебро родица». Казачий десятник Колька Иванов Москвитин, ведающий азы, буки и веди, бил челом государю: «От Туркуны-озера до озера Яравны черным же лесом ехать день. А из него вышла Ока-река и пошла в Витим же реку. А по Оке кочуют мунгальские люди и тунгусы. А Ока-река велика и глубока, струями по ней ходить можно, а по Яравне людей никаких, потому что кругом пролегли места худые и топкие, и мелких озер много...»

Спустя год из Енисейского острога вышли казаки боярского сына Ивана Галкина и, обогнув северный Байкал, в устье реки Баргузин срубили острог. Ещё через год казаки добрались до Яравнинских озёр, вышли к диким приболочен-

ным землям, где среди бесчисленных озёр и озерушек бродили лишь охотники-тунгусы, коих и обложили ясаком. На великом озере спустя годы казаки и срубили Яравнинский острог. Увы, недолгий выпал век острогу – Московский тракт пошёл южнее, и острожники, раскатав и погрузив на дровни Спасскую церковь, избы, амбары, укочевали поближе к тракту, где народилось волостное село Укыр. А на высоком берегу озера, повеличенного Большая Яравна, осталась рыбацкая заимка Яравна, что с летами разрослась в рыбацье сельцо, кое по старой памяти так и звалось заимкой.

Здесь и жил второй век Анисим Жданов, неожиданно махнувший на рыбалку в осеннее безвременье, когда рыба уходит вглубь и замирает в ожидании зимы.

А накануне, ещё с вечера пожилой рыбак, внук деда Анисима Спиридон, завёл мотоцикл с люлькой, махнул в село Сосново-Озёрск и привёз на заимку богомольную старуху Шлычиху, которая доводилась роднёй и была, как и дед Анисим, из древлеотеческих единоверцев, кои читили и старую двуперстную веру, и патриаршую трёхперстную: обе благодатны.

Похожая на счерневшую иссохшую иконную доску, суровая старуха выпихнула из избы всех домочадцев – охальников, табачников окаянных, обрызгала углы припасённой загодя святой водицей, обдымила тлеющей богородичной травой, потом неистово и долго, стоя вместе с дедом на коленях, перебирая чётки – старообрядческие лестовки, молилась на образа в красном углу, пригасшие от древности, но изливающие потаённое, тихое, скорбное сияние. В морщинистых лицах старика и старухи, сурово побледневших, но и восково отмягших, будто иконных, светилась уже нездешняя, неземная жизнь, и взмётывались, всплывали над обмершими глазами суровые знаменья.

Потом дед Анисим покоился на лежанке и, держа за руку старую Шлычиху, о чём-то сквозь слёзы шептал ей, и та вздыхала, кивала головой, повязанной чёрным платком, крестила деда, заставляя целовать литой медный крест со Страстями Господними и вторить за ней покаянные молитовки. И диво, старик тихо, но ясно каялся, выговаривая слова, кои домочадцам и не снились:

– ...Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и неведении, яже во дни и

нощи, яже во уме и в помышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. Аминь... Тебе, Господи Боже мой, главу мою преклоняю и во исповедании сердечном вопию: согреших, Господи, согреших на небо и пред Тобою и несмы достоин просити от Тебе прощения; но Ты, якоже блудного сына, помилуй мя, раба Твоего Анисима, яко мытаря, оправдай мя, и, яко разбойника, Царствия Твоего сподоби...

Отмолившись, Шлычиха сипло и слезливо причитала над стариком, укрывшим истомлённые очи тонкими, в синих прожилках, прозрачными веками:

– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию... Господи, помилуй... Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим... – после всякого прощения старуха пела ветхим, словно дребезжащим на ветру, плачущим голосом. – Подай, Господи... Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим... Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим... Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим... Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшнем судищи Христове просим... Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим...

Утром, когда запели божии птахи и поголубел узенький край неба, старик со старухой встали на поклон и опять долго молились, после чего обнялись, поцеловались троекратно и вроде заручились встретиться, но уже не здесь...

Почаевав, Спиридон завёл мотоцикл «Ирбит», уместил старуху в люльку и тихо, чтоб довести живой, не растрясти ветхие кости, повёз её обратно в Сосново-Озёрск. В эту пору старик и махнул на рыбалку.

Утихомилив лодку в ему лишь ведомом угле, достал берёзовые мотыльки*, выласканные ладонями до тёмно-бурого свечения, похожие на сами задеревеневшие стариковы руки, словно их продолжение, распустил жилку**, ссученную из сивого конского волоса, наживил червей, закрепших и покрасневших в сыром мху, и стал поджидать клёва. Забывшись, припевал в ре-

* Мотыльки – короткие озёрные удилица.

** Жилка – леска для ужения рыбы.

денькую, изжелтевшую бороду, тянул старины протяжным, жалобно дребезжащим плачем.

*Под ракитю зелёной
казак раненый лежал.
Он, стрелою прободённый,
крест свой медный целовал...*

Правнук Кольша – чернобровый, рано заматеревший парень, лет с четырнадцати промышлявший на зимней неводной рыбалке, – хлётко проплывая мимо стариковского батика, мельком вслушался в заунывно подрагивающий мык, на малое время отмахнул вёсла над озером, точно крылья, с которых журча осыпалась вода, и чудилось, будто острогрудая лодка летит над самой озёрной гладью. Ничего не разобрал в стариковом пении, усмешливо покачал кудреватой головой и погрёбся ещё шибче, далеко в нос откидываясь голой, дочерна просмоленной на солнце кряжистой спиной. Не до старика было парню, коль в корме посиживала, игриво ёжась в пиджаке, заманчиво посвечивая васильковыми глазами, белокурая залёта, и правили молодые под самый Черёмушник – дальний берег, непроглядно буреющий кустами черёмухи, боярки, талины. Нетерпеливо и азартно косясь на мягкие, оплывшие колени своей зазнобы, Кольша тут же и забыл про старика. И остался дед Анисим один посреди осеннего озера.

* * *

На диво глубокое, с меркнувшими в печальной октябрьской сини плоскими берегами, озеро Большая Яравна лениво дышало нагулянной за лето, сытой плотью; и это зримо ощущалось, когда в чистых прогалах среди листовой травы играла сорожка, когда она плавилась поверху серебристыми табунами, пучила воду, когда в охоте за ней били хвостами, взбурунивали сонную озёрную гладь яркие окуни и свирепые щуки-травянки.

В те пятидесятые годы озеро ещё хоронилось от многолюдья, пряталось в божией пазухе – в забайкальском Беловодье*, где вольно и обнажённо плескалось, вымётывая на песчаные, каменистые и зыбистые берега подводные травы-шелковники, будто зеленоватые, сыро светящиеся, долгие космы водяных дев. С тёплого бока загораживало озеру от Старо-

* Беловодье – богатые и вольные земли в русской мифологии.

московского забайкальского тракта соседнее озеро, поменьше и помельче, – там, как на перегноистой земле, быстро и буйно возшло гомонливое притрактовое село Сосново-Озёрск, в народе прозванное Сосновка-воровка; с двух других боков неохотно подпускали рыбаков к озеру приболоченные низины, зыбуны, а уж с холодного края огузгло и сумрачно приступал к самой воде таёжный хребет с каменистыми отрогами и снежными гольцами, во пору тумана-ползуна словно висящими в небесной синеве.

У самой подошвы хребта и жалась к тёмной, урманной тайге едва приметная с озера, в дюжину дворов, старая рыбацкая заимка Яравна, утаённая и притенённая рослым березняком и дремучими, в два обхвата, лиственницами, разложившими по замшелым крышам свои мягкие лапы. Могучие, перевитые узлами жил, вышарканные и выбеленные полыми водами корни лиственниц вспучились над землёй, скрепили её натуженными руками, и казалось, что избы не рублены мужиками, Богу ведомо когда и подвернувшись с Руси на забайкальское озеру, а выросли прямо из лиственничных корней, словно древесные наросты-капы. До гуда закаменев янтарной смолой, войдя в полную силушку, избы потом весь свой век сурово и покорно тратили её на здешних рыбаков, на их домочадцев, обороняя от града и ливня, от одичалых северных ветров-хиузов, во пору осеннего непогожья мокрых, остудных, пробирающих до костей, от свирепых морозов, от зимних буранов, гуляющих по неоглядному озеру, сшибающих с ног. Всё терпели избы, грея в своей тёплой утробе народишко, но с летами потихоньку-полегоньку стали томиться, темнеть венцами, морщиниться, потом взялись зеленоватым мхом, вращая в землю, устланную толстым рядом буро-жёлтой, топкой хвои. Уже без прежней важности, мутненько и слезливо, в полной и отрешённой задумчивости всматривались избы своими мелкими окошками в ту незримую межу, где озеро сливалось с верхним и вечным морем.

Вместе со старой заимкой Яравна, что через три века возшла на землях Яравнинского казачьего острога, доживал свой век и дед Анисим, вздумавший порыбачить в ту октябрьскую пору, когда не то что на удочку, а и в сети-то отродясь ничего не ловили – вода холоднела, и рыба, лишь тихими тёплыми вечерами играя у берегов, днями пряталась в неведомых пучинных ямах.

Накануне томило и маяло заимку долгое непогожье; ветер-листождёр рвал с берёз и осин остатние жухлые листья и сыпал их на избы или нёс прямо в бурлящее и бесновато ревущее озеро; ветер-верховик с гулом и свистом закручивался среди отмашистых листовенничных крыльев, и дерева скорбно гудели в ночи, раскачиваясь вершинами в самом поднебесье, взбалтывая и роняя наземь дрожащие звёзды, точно тронутые морозом ягоды рябины. Озноб пробегал по сердцевинам листовяков, отдаваясь в натруженных корнях, которые, чудилось, всякий раз после порыва ветра подёргивались, тузились и утробно хрипели в земле. Вместе с листовяками, взрослые на их корнях, постанывали в лад осадистые избы, покачивались, плыли в темени, словно рыбацьи ладьи на морских волнах.

Но, ушомкавшись за день на осенней неводной рыбалке, спали беспробудно мужики; шепотливо молились в теми старухи, испрашивая у Спаса и Царицы Небесной, у Святого Николы милости и прощенья за свои пригрешения и грехи домочадцев и чтоб унялся ветер-ветрище; закатывались в сипящем кашле протабаченные и почти всегда остуженные пожилые рыбаки, при этом кряхтели и морщились от ломотья и нытья в костях; просыпались от свиста и воя над крышами малые ребятешки, испуганно и затажно обмирали, скрадывая скрипы и стоны изб, воображая лукавых оборотней, просящихся в избяное тепло, но, объятые печным жаром, особенно желанным и ласковым в такую ветрину и стужу, слыша рядом посапывание и похрапывание старших, опять засыпали, и даже сквозь мокрую мглу, сквозь одичалый ветер спускались к ним с неба цветастые, солноликие, по-озёрному сизоватые, летние видения.

В это непогожье яравнинские мужики и бабы решили, что дед Анисим не переживёт осень, он и сам про то говорил с виноватой улыбкой; но в середине октября вдруг потеплело, тихо и невинно заголубели озёрные дали, проветренные за ночь, и дед, уже почти лежавший под образами, неожиданно одыбал, встал на ноги и даже выгребся на рыбалку, хотя сроду никто о такую пору не удил.

Его бы, ясно море, не отпустили, тем более одного, но все домашние, кроме семнадцатилетнего правнука Кольши, оставленного доглядывать за стариком, ушли докапывать картошку на

дальнее поле, а Кольше – тому хоть трава не расти.

Вначале дед Анисим выполз на берег и, сидя на перевёрнутой полусгнившей лодке, долго смотрел на озеро, пустое, сероватое, будто засыпающее. Смотрел, как его внучка Матрёна – уже давно баба в добрых летах, живущая своим домом, – полоскала бельё с широких дощатых мостков и поругивалась со своим бесштаным парнишонкой, кышкая его от воды, куда малый настырно лез:

– Тебе отец чё говорил, ежли утонешь, то лучше домой не приходи...

Малый, подставляя голую заднюшку нежаркому солнцу, сопя и кряхтя, подбирал у самой воды отпахнутые, набитые песком и зеленоватой тиной скользкие ракушки и, хитровато косясь на мать, поджидал, когда та перестанет за ним приглядывать, чтобы тут же искупаться.

Видел старик, как забредали в озеро парень с девкой, до того неприметно сидевшие, а может, лежавшие на сухой траве в затишке под глинистым яром. Приставив ладонь к козырьку сплющенной блином линялой фураги, взглядевшись, признал в парне своего правнука Кольшу, рыбака из тутошней неводной бригады; его этим воскресным днём и высвободили от картошки, чтобы приглядывал за домом и стариком, но тот давно уж забыл отцовы наказы, потому что забредала с ним в воду ухаждёрка Тоська, дочь одинокой непутёвой бабы, неведомо откуда и прикочевавшей на заимку.

Зябко передёргивая толстыми плечами, сутулясь, чтобы утаить прущее, как тесто из квашни, обильное тело, смущённо обтягивая вокруг набрякших колен белую исподницу*, шла Тоська мелкими шажками, боязливо прощупывая ступнями тинистое дно. Но вот она, похоже, ступила на песочек, пошла ровнее, шире и, когда мягкая грудь её заколыхалась на воде, охнула, присела, словно курица-наседка, но тут же с визгом выметнулась из воды и, отфыркавшись, поплыла вдоль берега; исподница сбилась на спину, надулась пузырьём, оголив не по летам бабы, незагорелые ноги. Кольша – плечистый, прокопчённый и провяленный на озёрных ветрах – стоял по колено в воде, почёсывая тощее брюхо, поддёргивая спадающие чёрные трусы, при этом зарясь шалыми цыганскими глазами на Тоську. Проплыв немного, пособачьи гребя воду под себя, запыхавшись,

* Исподница – нижняя рубаха.

Тоська встала на ноги, убрала с лица налипшие волосы и, поигрывая плечами, а потом и лукавыми синими глазами, стала дразнить ухажёра. Да ещё и отголосила на всё озеро:

*Дорогой мой зацелуйник,
не целуй больше меня –
мои губы пораспухли
от целуйника тебя!*

Пока дева плескалась, пока оглядывала озёрную благодать и хребёт, дотлевающий рябиновым, боярковым, жёлтым, малиновым цветом, подкрался Кольша, нырнул издалека и, вылетев пробкой из воды, ухватив Тоську своими клещнястыми лапами, повалил в озеро, будто в зелёное, ещё не просохшее сено. Тоська оглашенно завизжала, забилась в тискающих Кольшиных руках, колошматя толстыми ногами по воде, словно белорыбица могучим хвостом, – вроде испугалась, вроде сам водовик* потянул её в придонные травы; потом в утеху себе, не умея иначе выразить довольство, со всей моченьки замолотила по Кольшиной спине, но тут же и прилипла к парню, обхватив за шею и, похоже, даже обвив ногами.

Кольша привычно намекнул на щедрые Тоськины телеса:

– Тоська! Ты как в воду-то забралась, дак ить озеро вышло из берегов. Как ишо заимку не затопило...

– Дурак... – она опять шлёпнула ухажёра по спине и, придержав ладонь, протяжно и нежно погладила. – Эх, Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй...

* * *

Возле деда тем часом, поставив на песок таз с выполосканным бельём, присела Матрёна, сухонькая, чернявая, в обвисшем линиялом платье.

– Стой здесь, шемела! – наказала она своему голоштанному парнишонке, который рвался к озеру. – Стой, кому говорю! Ещё сунешься к озеру, жопу надеру... – Она сладила сердитое лицо, погрозила парнишонке пальцем и тут же пожаловалась старику: – Два раза его, идола, из воды вынала.

– Чао? – дед Анисим напрягся, вслушиваясь, и даже приставил возле уха ладонь. – Ты, мнуча, шибче реви, я ить на одно ухо совсем босой, ни холеры не слышу.

* Водовик – озёрный водяной в сибирской мифологии.

– Говорю, в воду лезет, паразит! – гаркнула Матрёна, тыкая пальцем на парнишку. – Утонет вот...

– А-а-а... Но, видно, рыбако-ок растёт.

– Да уж верно, что рыбачок – так, фулиган, и рвётся в озеро. Силком не оттащишь.

– Присматривай, деука, присматривай, а то парнишонка-то у тя вольный, того гляди и... Манит озеро, ой манит. У меня ить тоже был... Чуть поболее годами... Утонул, деука, утонул. На ночь глядя полез купаться, да и... Да и сыскать не могли. Царство ему небесно. – Старик двуперстно перекрестился. – Може, и выпь упёрла.

– Какая ещё такая выпь? – поморщившись, досадливо скосилась на него Матрёна.

– А? – Дед опять склонился к ней, приладив к уху ладонь.

– Какая ещё выпь? – досадливо крикнула Матрёна. – Сроду про такую не слыхала. Выдумывашь кого-то...

– Выпь-то?.. Выпь – это, деука, сказать, озёрный бык. Он при солнушке не кажется. Разве что в потёмки на бережок выбредат... Водянушко, он и есть водянушко – нежить, одно слово. Так и скрадыват, кто купатся впотьмах, – кого бы уташшить. Ночной уповод...

– Буровишь ты, дед, кого попало. Ребятешёк пугашь. Видом не видывали, слыхом не слыхивали про твою выпь.

– Вдругорядь, это, придёшь сюда под потёмки, кто-то вроде плачет, зовёт – ой, окстишься да ударишься в гору, себя не помнишь. То ли дева водяная манит, то ли выпь зовёт...

* * *

А молодые, утешно бранясь, пересмеиваясь, забрели аж по самое горло и подтаяли в озерном мираже; Тоська плавала важной утицей, а Кольша то кружил возле девы, то опять, чисто селезень, накидывался, лип, и раскатывался до самых хребтов захлёбистый, визгливый Тоськин смех.

– Ишь, разыгрались, ничё, холеры, не боятся, – укоризненно покачала головой Матрёна. – Другого-то уж места не нашли, в озеро, срамцы, залезли – гляди, заимка, дивуйся.

Дед Анисим догадался, о чём речь, и, ухмыльнувшись в бороду, сказал поперёк:

– В озере-то, милая, самая игра. Пусть потешатся, пока даётся. Ребятёнки-то посыпят, некогда будет играть.

– Зажил народ, не наша беда... – Глаза увядающей жёнки на минуту притуманились в зави-

сти, словно вечерние окошки в осени, хотя она тут же и усмирила, отогнала непрошенное, неуютное чувство и уже без горечи договорила: – А нам одна война досталась, пропади она пропадом... Так эту рыбу и фуговали, из мокра не вылазили. Не рыба, дак живьём бы передохли...

А молодые разлепились, расплылись по сторонам: Кольша, выносясь всей грудью, буровя воду, погрёб мористее*. Много, видно, осталось неистраченной силы, непрогоревшего жара... Тоська же поплыла, затем побрела к берегу, на ходу собирая рассыпанные по мягкой спине и отжимая русальи волосы. Когда она, раскачивая крутыми боками, метя сырой песок глубокими следами и горделиво отвернув голову от старика и Матрёны, прошла мимо них, мокрая исподница так облила тело, что видны стали буроватые соски, вершащие литую грудь... Матрёна не утерпела и с откровенной завистью подивилась на Тоськину матёрую осанку.

– Выгуль-девка! Гли-ка, аж бока заворотились, поперёк себя толще. И на каких харчах отъелась, на каких перинах вылежалась, ума не приложу. Дома шаром покати, голь голимая... И мать-то вроде мелконька. А эта – чисто ведь-медица. Такая не то что вашего Кольшу, листовень с пути своротит, уманит за собой. Ишь, заголилась-то, глаза бесстыжи, свистуха. Так и вертит хвостом...

– Чадородлива будет, – улыбнулся дед Анисим. – Рыбачков натаскат полну избу – успевай пеленай.

– Ежли в путни руки попадёт, – с намёком на Кольшу, которого заимка считала беспутым, вздохнула Матрёна. – А то и подол задерёт... Ишь, красуется стоит.

Тоська была дородна и спокойна от сознания своей красоты и обильности, как озериче, как всё живое на берегу, щедрое и вольное, как этот погожий румяный день, и, выбредши из озёрной купели, будто из парного молока, стала ещё сочнее и краше. Высматривая в озере Кольшу сквозь синеватый прищур, дева улыбнулась... На спелых щеках взыграли ямочки... Потом крикнула:

– Кольш-а-а! Охламон!.. Ты куда моё платье спрятал?

Парень отозвался со смехом:

– Иди ко мне, скажу на ухо!..

– Знаю-знаю, кого ты скажешь... Отдавай платье. А то нагишом пойду – пускай парни зарятся.

Матрёна опять неодобрительно покачала головой:

– Хоть бы уж округилась поскорей, что ли... с Кольшей-то вашим. А то уж парни проходу не дают, так и липнут, будто мухи на мёд. Того гляди, за кулаки возьмутся.

– Да уж сладились бы на Покров, чтоб побожецки, по-русски, – вздохнул дед Анисим. – А то и впрямь греха не оберёшься: озорная девка, да и наш-то – крутель белого света.

– О-ох и благодать-то какая на озере, – Матрёна выгнулась долгим и узким телом, закинув руки за голову. – Домой идтить неохота, так бы, деда, и сидела сиднем и ничё не делала. Ишь как распогодилось-то...

– Купель Божия, – поддакнул старик.

А Матрёна, не слушая его, подхватила вдруг, вскочила с лодки и стала испуганно озираться кругом. Парнишка как сквозь землю провалился... Баба заметалась по берегу, а потом с лихим криком кинулась в озеро, беспамятно выхватила сына из воды и, не помня себя, прижимая родимого к груди, отбежала подальше от берега, распугав утиную стайку. Опамятовав, видя, что сын цел-невредим, а побледнел, заплакал, испугавшись её испуга, стала всего исцеловывать от пупка до глазынок с висящими в ресницах гроздьями слёз. Очнулась лишь тогда, когда малый, посинев от тисканий и целований, мученически закатил большенные, как блюдца, синие глаза, откинул белёсую головёнку назад, подальше от ненасытных, обезумевших материнских губ, весь выгнулся коромыслом и утробно, во всё горло заревел. Мать, теперь видя, что он воротит от неё своё лицо, чуя, что пробует вызмеиться из рук, тут же, костеря его на чём свет стоит – бродягу, варнака, шарамыгу, суслика, божье наказание... – садко отшлёпала, и пухлая заднюшка малого багрово запалилась, а сам он пуще того закатился в рёве, может быть, жалея, что не уплыл поглубже... Плыл бы и плыл бесконечно среди шелковистых трав... Что дал себя выудить на белый свет, где то нежат до посинения, то хлещут почём зря, – одна слава, что свет. Спихватившись, мать снова начала заполошно целовать, вжимать его в грудь, точно желая раз и навсегда затискать, заласкать до смертишки, задушить в ласках, чтобы ничего больше не знал, ничего не помнил, кроме её ласки, чтобы не переживать за него денно и ночью.

На шум подбежала Тоська, испуганно, непонимающе глядя на Матрёну и её сына.

– Чё случилось, тётка Матрёна?

* Мористо – далеко в море.

*И сладким кажется на берегу
Поцелуй солёных губ...*

Кольша уткнулся и зарылся лицом в Тоськину бабью грудь.

– От пристал, лепень, а! Охолонись маленько, – просила дева и, церемонно вытягивая губы, со свистом целовала ухажера в лоб. – Успокойся, люди же кругом!

– Пускай глядят, завидуют... – Парень засмеялся, ощерив лошажки зубы. – Поехали под Черёмушник, а? Лодку столкнём... Поехали, а?.. – Он поднялся на колени, потянул Тоську за руку.

– Одно у тебя на уме, – вздохнула подруга. – Куда гонишь?! Знаешь, как в нашей деревне девки пели?..

*Хотел милый полюбить
шибко по поспеху,
только вышло у него
людям на потеху.*

Отчастушив неожиданным при её дородности тонким срывистым голосом, вдруг с горечью покачала головой:

– Эх, Кольша-Кольша... Чует моё сердце, поматросишь да бросишь...

Парень вместо ответа ухватил её сгребом, подмял под себя, и Бог весть, что бы тут случилось на примятой жухлой мураве, но Тоська увидела поблизости старика, силком отпихнула настырного охальника, быстро села, отряхнулась, натянула платье на колени. Кольша, перехватив её взгляд, глянул мутными, невидящими глазами на своего прадеда и махнул рукой:

– Кого испугалась?! Он уже и под носом-то ничё не видит.

– Да отстань ты, отстань, – уже раздражённо дёрнула Тоська плечами. – Прилип как банный лист. Неудобно аж.

– Неудобно штаны через голову сымать.

– Грубый ты, Колька...

– Да ладно тебе, кого-то строишь из себя, – скривился парень, вышарил в жухлой траве под яром ополовиненную чекушку водки, поставил её на расстеленную холстину, где среди перьев лука-батунки подсыхал ломоть хлеба и белели очищенные яйца. – Примешь маленько? За любовь?

– За любовь?! – горько усмехнулась Тоська. – Какая там любовь к лешему!..

Тут старик подошёл к ним совсем близко, невнятно бормоча в реденькую бороду и что-то вы-

Баба покосилась на неё досадливо: дескать, не лезь, девча, не твоего ума дело, а вот как своего заведёшь ребетёнка, тогда и помотаешь соплю на кулак.

– Чё случилось, чё случилось... – проворчала она, зло косясь на малого, едва сдерживая вознесённую руку. – В озеро залез, паразит такой... Чуть не утонул. На вас, охальников, нагяделся, как вы придуривали, вот и полез. Как ещё воды не нахлебался – успела выудить... Гляжу, нету мово парня, а он уж под водой плавёт...

Дед Анисим, хоть и не смог подняться с лодки, видимо, отсидел ноги, по которым посыпались мелкие мураши, но тоже заволновался и, лишь с горем пополам уняв тряские руки на колених, прижав одну к другой и даже прищемив коленями, укорил бабу:

– А я те, деука, чё баил: глаз востро доржи. Манит озеро... Купель Божия... Ой манит. Вода да огонь куда хошь сманят, заморозят, околдуют, только и видали. Прямо глаз не спускай... Мой-то парнишонка, царство небесно, тожить так – отвернулись маленько, а он в озеро – и поминай как звали. А тут самый урёв*, а много ли ребятёнку надо?! Хлебанёт – и готово... Тут глаз да глаз нужен.

Матрёна, не дослушав стариковы говоры, одной рукой подхватила таз с бельём, другой – ноющего сына и торопливо засеменила в угор, поднимая голыми ступнями рыжую пыль.

* * *

Когда дед Анисим снова явился на берегу, но уже с ведёрком и удами, Кольша полёживал на жухлой мураве под самым крутояром и что-то куражливо, через нос выговаривал своей зазнобе, которая держала его голову на сомкнутых коленях и перебирала, завивала на палец смоляные, жёсткие, точно конский волос, Кольшины кудри. Морщилась, заспнялась ладонью, а то и шлёпала охальника по рукам, когда тот пригребал её к себе на грудь, лез ненасытным ртом к шее и губам.

– Ой, отчепись, отчепись, – игриво отмахивалась Тоська. – Верно, что зацелуйник... И у кого научился, идол...

– В кине видал. Там ишо пели...

Парень сиплым баском насмешливо пропел:

У моря, у синего моря

Со мною ты рядом, со мною...

* Урёв – глубокая заводь.

12

искивая под крутояром. Приметив молодых, долго прищуристо всматривался, вроде не признавая, хотя вот-вот с тёткой Матрёной дивился на них, выходящих из воды.

– Ты чего, дед, бродишь?! – Правнук досадливо оглядел старика. – Иди домой. Залазь на печку и лежи...

Старик, видимо, не расслышав, о чём речь, улыбнулся правнуку и стал подсыпать землицы в чумашок*, где у него лежали неведомо когда накопанные дождевые черви. Он ковырял землю крюковатым пальцем, щепотками трусил её в чумашок.

– Деда, как здоровьице-то? – зная про старикову глухоту, почти проревела Тоська, но дед всё равно непонимающе уставился на неё.

– Как здоровье, говорю? – добавила Тоська голоса.

– Как у быка, – пробурчал Кольша, сердитый на старика за то, что некстати явился. – Ещё нас переживёт... Женить его хотели... Тут одна старуха сваталась, – правнук намекнул на бабушку Шлычиху, – а дед говорит, дескать, женилка ишо не подросла.

– Ой, Коля, кого-то болташь своим языком поганым...

– Дак оно, милая моя, какое теперичи здоровье-то?! – не слыша или не слушая правнука, дед Анисим светло и ласково улыбнулся Тоське. – Одне одонья** остались от здоровьица-то. Чужой век зажил... Но да ничё, слава Богу, живём, хлеб жуём, а ино и посаливам.

– А говорили, приболел.

– Кого ты с им разводишь тары-бары! – фыркнул правнук. – У его же не все дома, к соседям ушли. Нашла с кем оладьи разводить.

Он, полёживая за Тоськиной спиной, диву давался: последний год старик совсем из ума выбился, чудить начал, а тут вроде и заговорил по-человечьи, ожил. По избе-то с ботажком*** шаркал, а тут, на тебе, на берег припёрся.

– Ты как это из дома-то вылез? – усевшись возле Тоськи, спросил Кольша прадеда. – Я ещё давеча хотел узнать.

– Да уж сподобился... с Божьей помощью.

– И куда ты, старый хрыч, лыжи наострил? – подозрительно глянув на чумашок с наживой, потом на уды, стоящие возле батика, заинтересовался правнук. – Уж не на рыбалку ли наладился?

– А? – дед склонился, подвернув ухо к правнуку.

– На рыбалку, говорю, собрался? – крикнул Кольша.

– Да надоть маненько. Спробую, Кольша, поужу. Может, глядишь, и талан**** будет.

– Талан... – передразнил правнук. – Ты чего, совсем умом-то ворохнулся? Вали, вали домой. Народ-то не смеши... Тоже мне, рыбак выискался.

– О-ой, я, Миколай, столь на своём веку переудил, тебе век не переудить. Сроду без добычи не ворачивался, заздря уды не мочил. Может, и теперичи Бог даст.

– Иди домой, не придуривай. Ожил, что ли?

– Ожил, паря... Да я близенько тут, под берегом. Мористо не буду заплывать. Маненько поужу и назадь.

– Назадь... – опять передразнил его правнук и, повернувшись к Тоське, удивлённо покачал головой. – Ну-у, дела-делишки... А я, когда купались-то, гляжу: дед выполз – ничего себе, думаю... Ты вот что, старый, сказано тебе, дуйка лучше домой, лезь на свою печку и не дури, не смеши народ. Помрёшь в лодке, отвечай потом за тебя.

– Ничё-о, поперёд смерти не помре. Бог не захочет, и прыщ не соскочит. Да я недалёко, под берегом, на твоих глазах.

– О-о-ой, – парень устало мотнул замороченной головой, – как ребёнок... Да ить зря же скатаешься – октябрь уж, поди. Вода холодная. Забыл, что ли?.. Рыба давно уж вглыбь ушла, с месяц как на удочку не тянет. Будто не знаешь... А ишо и рыбак прозываешься. Я вон сети зря мочил: десять концов поставил – едва на жарёху поймал. А ты на удочку хошь. Маленько-то сообщай.

Дед Анисим на Кольшины слова лишь улыбнулся в снежную изжелта бороду, хитровато мигнул Тоське, почесал затылок, сдвинув на глаза сплюсненную фуражку, и прищуристо взгляделся в озеро.

– Ну-у, чё уж Бог даст, то и даст. Нет, дак хошь на воде посижу, душу отведу. А ты, чем зубы-то попусту мыть, подсоби-ка лучше батик спихнуть. Одному-то мне не одолеть. А то пока шельшепель, глядишь, уже и стемнет. День-то теперичи короткий, с воробыный скоч... Но давай, подсоби.

Дед Анисим спустился к батик и стал укладывать на дно удочки, ведёрко, чумашок с червями.

* Чумашок – берестяной коробок.

** Одонья – остатки, осадки.

*** Ботажок – палка.

**** Талан – удача.

– Зря ты, Колька, отпускаешь деда, – подумала вслух Тоська, – загинет ещё.

– Вот и поговори с ним. Силком его упереть домой, что ли?! А-а-а... – Махнул рукой правнук. – Бог с ним, пускай едет. Раз душа просит, пускай потешит её. Всё же рыбак был...

– Ну ты кого там телишься? – позвал старик. – Помогай! А то прокопошимся, тут и Спиря подскочит, – дед помянул своего внука Спиридо-на, Кольшиного отца: дескать, ежели тот увидит, дак чего доброго ещё и не пустит на рыбалку.

– Ну, смотри, дед, я не отвечаю, – упредил правнук и, подойдя раскочистым шагом, легонько, одной рукой пихнул на воду сухой долблённый батик. – Но чтоб под берегом у меня сидел, понял? Рыбак, мать её за ногу...

– Съезжу-ка я, паря, охотку собью, – отозвался дед, вставляя вёсла в уключины, половчее, поусадистее пристраиваясь на лавочке и дугу для упора нащупывая ногами, обутыми в ичиги*, смазанные дёгтем. – А ты послухай-ка сюды, ужотко чё я тебе скажу: хва, паря, казаковать, хва, а то и своя жизнь кобыле под хвост улетит, и деука испортится, за волю схватится. Ишь, кака брвава, шепётка**. Парни, поди, табуном ходят.

– Устье ходят, мне-то какое дело! – холодно-вато усмехнулся парень.

– Уведут с-под носа, помянешь мои слова.

– О-о-ой, – Кольша снисходительно засмеялся, – да я свистну, косяк набежит.

– Во-во, досвистишься... Ты уж давай, паря, к одному краю пригребай: или не дури деуке голову, не сомущай, или уж закон Божий*** примамай, чтоб по-русски всё, по-божецки.

– Ты чё-то, дед, нонче шибко разговорился.

– Не баламуть Тоську, не бери грех на душу, а на Покров мирком да ладком и свадебку сыграете. Ишь, чадородлива – глядишь, и рыбачка принесёт, да Анисимом и окрестите.

– Таких имён теперь не дают. Да и пошто в честь тебя-то?

– А чего, я жизнь худо-бедно ладом прожил. Може, и чадо ваше в меня пойдёт.

– Ладно, дед, собрался на рыбалку, езжай, некогда мне с тобой рассусоливать. – Правнук пихнул батик со всей мочи, и он заскользил по тихой, застоялой воде, с певучим журчанием обтекающей туповатый нос.

Когда старик уже опустил бархак, заменяющий якорь, и настроил уды, Никола, всё так же прохладаясь с Тоськой на мураве под яром, сердито заворчал:

– Ну, дед, ну, Мазай, говорил же ему, под берегом сиди, так нет, вон как мористо увёспил. И откуда силы взялись...

– Здоровые были мужики, не чета ныннешним, не пили, не курили.

– Но чё, Таисья, пойдём ко мне, – парень крепко обнял подругу и прошептал на ухо. – Дома никого.

– Ещё не чище! – отпрянула Тоська. – С каких таких пирогов я к вам-то попрусь? Кто я тебе?.. Заугольница?.. Ночная пристёжка?..

– Да ладно, кончай приставляться.

– Хороший у вас дед, – с грустным вздохом сказала Тоська, поглядывая на чернеющий стариковский батик и, видимо, перебирая в памяти дедовы слова, сказанные про неё, вернее, про них с Кольшей. – И хорошо сказал... Бросишь ты меня, однако... Но ежели кинешь – утоплюсь, понял? Как в песне...

Тоська отчаянно пропела на всё озеро:

*Если забудет, если разлюбит,
Если другую мил приголубит,
Я отомстить ему поклянусь,
В речке глубокой я утоплюсь.*

– Ладно-ладно, не реви!.. Пошто вы такие, девки, сразу: брошусь, утоплюсь...

– А-а-а, теперь уж чё говорить, – дева невесело рассмеялась и, обхватив парня за шею, с неутолимой нежностью уставилась на него. – Снявши голову, по волосам не плачут... Ох, свалился же ты на мою голову, идол окаянный.

– Это ещё кто на кого свалился, надо посмотреть, – улыбнулся Кольша.

– И за что я тебя полюбила, в толк не возьму! Ты-то меня хоть маленько любишь? – Тоська пытливо, с надеждой и сомнением всмотрелась в Кольшины рыбы глаза. – Молчишь как рыба об лёд. Да ладно, теперь уж всё одно...

– А поехали-ка под Черёмушник. Отдохнём, ягод поклюём.

– Какие ягоды?! Октябрь уж...

– Ползуниха... – парень засмеялся и потянул деву к лодке.

– Да не тащи ты меня волоком. Что я тебе, тёлка глупая?! Сама сяду, – вырвалась Тоська и, дождавшись, когда парень спихнёт лодку на воду, уселась на корме.

* Ичиги – мягкие сапоги из сыромятной кожи, смазанные дёгтем, чтобы не пропускали сырость.

** Шепётка – красива.

*** Закон Божий принимать – венчаться.

День вызрел тёплый, но не жаркий, и тихий-тихий, на редкость тихий. На отлёте сентября и зачине октября всё чаще и чаще задувал хиуз – по-зимнему пробирающий до костей северный ветер – косматил постаревшее в осени, гудящее по ночам озеро. А тут на диво, на погляд всё утихомирилось, притаилось в сизовой дымке. Даже чайки и те промеж себя судачили вполголо-са... баюкали задремавшее озеро, со вздохами поминали отлетевшее к небу бабье лето... и летали уже без былой рыбацкой суеты – плавными, печальными кругами, и не орали ором, не гомонили, вырывая друг у друга пойманных чебачков, – насытились, видно, остепенились да, построжав, собирались с духом в дальний перелёт. И всё загибали и загибали круги возле дедовой лодки, похоже, он подбрасывал им загодя припасённый хлебушек, потому что отпотчевать рыбой не мог. Впрочем попрошайничали мелкие чайки и сеголетние чаята, нынешним летом вставшие на крыло; а матёрые чайки, прозываемые бакланами, да и средние, посиживали вокруг лодки, точно старики и старухи на солнопечной завалинке, с печалью в слезливых и застойных глазах дивуясь молодой ненасытностью и суетливости; иногда, очнувшись от старческой дрёмы, встрепенувшись крылами, властно вскрикивали, осаживали молодых, если те вдруг плача и бранясь промеж себя, слишком настырно завивались над самой дедовой лодкой, – того смотри, из ведра потащат, если, конечно, там было чего тащить.

Ярыми кострами – красной, жёлтой, малиновой цветью – полыхал над озером таёжный дыбистый хребет, отражаясь в белёсой, будто омертвелой воде. И чудилось, там, в озёрной глубине, светится в осеннем угасании иной хребет – нежнее и чище, и замерли над гольцами сизые облака и, замедленно, отмашисто вздымая и опуская крылья, безголосо пролетают чайки.

От таёжного хребта, где на каменистом облыске чернела заброшенная часовенка святого рыбацкого Угодника Николы, истекало едва приметное цветастое сияние, плыло над умолкшей водой, колыхаясь дивным миражом. В призрачном рое свечений и плывущего эхом с небес ангельски тихого пения старик одиноко сидел в лодке, изредка подёргивая коротенькие уды-мотыльки, разложенные по избитому, отрухлявешему борту, с коего сыпался в воду жёлтый прах.

Ближе к сумеркам озеро и пуще высветлилось, стало таким гладким и зеркалистым, что когда пролетала чайка, то ясно виделось, будто другая чайка скользит под водой, среди замерших в пучине белёсых облаков, вытянутых, похожих на диковинных рыб; там же, в озёрной глубине, среди белых рыбин являлось и лицо деда Анисима, опушённое ковылистой, выцветшей бородой, а встречу ему зазывно посвечивали обмельчавшие под старость кротко синие очи.

* * *

...Хватились старика уже вечером, когда, приплыв берегом, выскочили из лодки Никола с Тоськой. В это же время вернулся Спиридон и, костеря своего непутного сыночка, суетливо сбегал с крутояра к воде. Прихватив на берегу сына, обнимающего на прощание сморенную Тоську, тут же набросился на него:

– Ты что же это, мякинна твоя башка, деда-то отпустил? – Спиридон, невысокий, кряжистый мужик, с крупным и будто сонным лицом, был непривычно возбуждён и от досады готов был, как жетса, плюнуть в сытые и бесстыжие Никольшины зенки. – Тётка Матрёна доглядела... Здоровый уж бык, а соображения совсем нету, мать ты за ногу. Вот сыночек-то вырос на мою шею, а...

– Ладно-ладно, батя, чего разлаялся? – огрызнулся сын, переминаясь с ноги на ногу, снисходительно поглядывая на шебутного низкорослого папашу. – Что я тебе должен был его, как телка, на привязь посадить?

– Э-эх, вечно у тебя пень да колода... Тебя, как доброго, оставили за дедом присмотреть, а ты куда ушастал? – Спиридон поскрёб сивую бороду и покосился на Тоську, хмуро оглядел её с ног до головы. – О-о-ой, беда, беда, беда... Эвон чё дед отчебучил, на рыбалку умотал. А ты шуры-муры свои...

Тоська покраснела как маков цвет, испуганно одёрнула мятое и мокрое платье, потом, нервно прикусывая нижнюю припухшую губу, круто развернулась и, горделиво заломив шею, пошла к заимке.

– Ты бы подумал, бестолочь, маленько своей башкой! – Спиридон постучал казанками себе по лбу. – Ты бы вспомнил, сколь ему лет! Ох, беда, беда... Ну чё шары выпучил? Давай кричи дед... Каку холеру он там засиделся?! Пускай дедом вёслит... Кто сейчас на рыбалку ездит...

Ещё не смеркалось, но солнце уже село в озеро и посвечивало со дна утомлённым блё-

клым светом; и небо, и озеро по-осеннему широко, неоглядно отпахнулись, замерли, глядя на ночь; и посреди остуженного, грустного покоя, посреди серебристой воды стариковский батик виделся сиротливо чернеющим бревном-плывуном, которое, мерещилось, тихонько уплывает и уплывает туда, где озеро сливалось с небом – вечным морем.

Сперва покричали деда на разные лады, но тот не шелохнулся, потом, как и обвыклись, колошматили берёзовым сучком в медный таз. На гомон и бряк спустились прибрежные мужики и бабы, явилась и тётка Матрёна, за которой поводком волочился ее парнишонка, ухватившись ручонкой за подол.

– Днём, это, ишо бравенько с им посидели на берегу, – тревожным шепотком, как про покойника, вспоминала тётка Матрёна, нет-нет да и со вздохом всматриваясь в чернеющий стариковский батик. – Дед ишо баял: дескать, манит озеро... А тут ишо мой варнак... – Тётка уж замахнулась на малого, чтоб дать затрещину для острастки, но, глянув в озеро, сдержала заполосную серчалую руку. – Тут мой идол под шумок в воду залез да чуть не утонул... Но дак чё, бельё-то выполоскала, уж в ограду вошла, на крыльцо-то вздымаюсь, гляжу... Мамочки родны!.. Дед Анисим в море погрёб! Не загинул бы... – тётка Матрёна неволью высказала догадку, какая у заимских уже зрела в уме, но тут же спохватилась и прижала язычок, виновато покосившись на Спиридона.

Тот ожёг пустобайку суровым взором: «Чего ты, баба-дура, раньше времени хоронишь старика?!» – и велел сыну сталкивать лодку:

– Ладно, Кольша, чего зря глотку рвать, плыть надо к деду.

* * *

Дед Анисим лежал, переломившись через борт, и красноватая закатная рябь колыхала плавающую бороду, накатывалась с прищёлком и причмоком на низкий скошенный лоб и, журча, обтекала бледную, с буроватыми пятнами, морщинистую плешь. Выскользнувший из-за ворота, покачивался на витом шнурке медный крестик, блёсенкой посверкивал в чернеющей воде. Рука деда, упавшая за борт, сжимала ветхую фуражку с лопнувшим посередине твёрдым кондырем. Может, испить наклонился или уж глотнул из фураги студёной осенней водицы, да тут и отлетел к небу попутно с озёрным ветерком стариковский полегчавший дух. А может быть, старик, который

неведомо когда и красовался перед зеркалом, загляделся, не узнавая, на своё отражение в воде... По-младенчески растопорщенные уши и по-младенчески же вьющиеся подле ушей бело-пушистые остатние волосы; утекающий в пегую плешь изморщенный лоб, под крутяком которого хоронились, посвечивали изглуби, как два махоньких синеньких озёрушка, дедовы слезливые глаза... И это отражённое лицо, может быть, приблизилось старику замершим ликом святого Угодничка Николы, рыбачьего обережителя, который поманил, поманил деда... Или уж привиделся сынок, лет восемьдесят назад утонувший в прибрежной урёме, и, может, позвал едва слышным голоском, похожим на лепет озёрной ряби, и уж не стало сил противиться родному зову.

Возле стариковского батика качался на сумеречной волне припозднившийся баклан и, когда Спиридонова лодка заскользила рядом, жалобно вскрикнул, всхлипнул, тяжело взнялся и огрузло полетел по-над самой водой, крúгом огибая батик, отчего Спиридон неволью обмер, провожая вещь птицу испуганным взглядом. И после – когда, привязав батик к лодке, отец с сыном греблись в берег, – баклан всё кружил и кружил подле, призрачно темнея на заревном небе, и, словно поминальная плачя, прощался со стариком заунывными воплями. Так чудилось Спиридону, так он шёпотом обсказывал и на рыбацкой заимке.

– Батя, батя! – в диве пуча глаза, показывая ими дедово ведро, полное отборных окуней, не молвил в голос, а сдавленно прошептал Кольша: – Гли-ка, гли-ка, полно ведро надёргал, с опупком. И окунь-то хрушкой*...

Не слыша его, Спиридон сторожко, с оберегом косился на баклана, который не отставал, решив проводить древнего рыбака до самой заимки.

– А как чуяло сердце, – выдохнул Спиридон, и присмиривший сын, отмахнув с глаз смоляной чупрын, смотрел на батю во все глаза, слушал, стараясь не обронить в воду даже малого словечушка; даже грести перестал, отметнув вёсла, с которых мерно и звонко в обступившей вечерней тиши падали в озеро капли. – На двор пошёл... А ещё путём не рассвело, ещё петухи не пели... Гляжу, мать ты моя родная, чайка!.. Чайка на тыну сидит. Да большущая, паря, адали баклан... – Спиридон неволью и опасливо глянул на летящую поблизости чайку. – Сидит, это, и вроде в

* Хрушкой – крупный.

окошко глазом зырк да зырк – кого уж там высматриват, бог её знат. Кышкнул её с тына, а на душе морозно, неладно: ох, смеаю, не к добру ты прилетела в ограду, вещунна птица, ох, злую весточку на хвосте принесла... Сроду ить, паря, подле избы чайки не сидели... Ну, думаю, как бы наш дед не тово... – Спиридон замолчал, вздыхая и покачивая головой. – А потом закрутился-завертелся с этой картошкой да и забыл. Отчаевали, это, значит, на картошку собрались, а я ещё, помню, пошёл в сенник тебя будить: пускай, думаю, сбегает сети проверит, может, хоть на одну варю за ночь налезло...

– Бёз толку, три чебака сдуру залетели – и всё. Снимать надо сети, чё их зря гноить в воде...

– Ну и вот, значит... Пошёл я тебя подымать, а тут старый-то и кличет меня в свой запечек. Надо, говорит, попрощаться, а то мало ли что. Дескать, сон видел лихой. И давай сон мне об-сказывать: мол, щука приснилась, здоровенна така, цела кокорина*, ажно мохом взялась. Приплавилась будто бы к самому батику, выпучилась на меня и смотрит, смотрит... А потом, это, по-человечьи молвит. Чё уж она баяла, говорит, не упомянул. Зовёт вроде, сманиват... Мне бы, мол, надо окстись крестным знаменьем, а силов нету, вся моченька моя вышла. А щука манит и манит... Я, говорит, наклонился маленько, она своим плеском-то** ка-ак даст да и всего окатила водой, аж сердце захолонило. Окатила, это, с головы до ног, да и пошла себе тихонько в урёму... – Спиридон, хотя и не бог весть какой богомольный, но и не худобожий, невольно перекрестился – витиевато махнул щепотью перед лицом и что-то коротко прошептал. – А мне недосуг его слушать, надо на картошку – коня уже успели запрягчи, девки на телегу уселись, меня кричат. Надо их увезти, а потом ишо и старуху Шлычиху в деревню утартать... Вот я ему и толкую: вечером, дескать, поговорим, дед... Везу старуху Шлычиху на мотоцикле и думаю: «Тронулся дед умом». А из деревни на картошку заехал, подкапываю, а душе нет покоя. Скребут кошки. Едва вечера дождался...

Спиридон сжал в кулаке бороду, пошингал её, одышливо вздохнул и, подтянув батик ближе к лодке, чтоб не болтался из стороны в сторону, покороче перевязал верёвку. Мельком глянул на старика, лежащего теперь на дне батика, укрытого Кольшиным пиджаком, ещё таящим в себе

запах потной Тоськиной плоти. Пиджак сполз с лица, и в светлое небо, где запалилась ранняя звёздочка, глядел открытый глаз, из бездонной глубины которого уже выкатился живой синеватый свет. Опять испуганно перекрестившись, Спиридон ещё ближе подтащил лёгонький батик, натянул пиджак на стариковское лицо, потом велел сыну:

– Давай, Кольша, гребни шибче, а то уж темнеет... Да-а, сколь не жить, а смерти не отбыть.

– А и вроде одыбал, на ноги встал, – с отцовской степенностью покачал головой сын, неспешно, осторожно, вроде как похоронно загребая вёслами.

Он впервые увидел смерть, вернее даже не смерть, а покойника, который ещё вот-вот представлял его на жизнь, и ему почуялось, будто он вдруг разом стал взрослее своих семнадцати лет, будто со смертью деда жизнь его как-то круто поменяется, да и во всей заимской жизни после деда что-то переменится. Что и как переменится, он не смекал, не угадывал, но уж старому теперь не будет. Ясно припомнились, будто прозвучали с закатного неба последние, вроде и обыденные, но теперь освящённые сокровенным смыслом дедовы слова, сказанные ему, правнуку, на берегу. Кое-что из сказанного дедом Кольша и поведал отцу.

– Сын, говорит, родится, Анисимом назови. В честь него вроде, – усмехнулся правнук.

Спиридон, заблудший в глухом и холодном тумане грустных своих поминаний, кручинных дум, слушал вполуха, иногда жалостливо косясь на сына, потом сморщился, проворчал:

– Ты, верно что, девке голову-то не морочь, а решил жениться, так женись. И правильно дед толковал, и грех тебе будет, ежлив обманешь. Дед зна-ал, как жить, не наша беда... Сроду худого слова не молвил, и негордый был, незавидливый, вот и хворобы сроду не знал, вот и пожил... А уж здоровый-то был – нам ещё гоняться да гоняться за им. Не-е, здоровьицем его Бог не обидел: за восемьдесят, кажись, завалило, а денно и ночью на озере, так и не вылазил из мокра. И зиму, и лето удил, и купался, паря, до ледяных заберегов... Вот и смертушку лёгкую принял. Спи теперь, деда, спи спокойно, отрыбачил своё, царствие тебе небесное... – Спиридон, обернувшись на солновсход, неожиданно осенил себя крестным знаменем, и сын удивлённо выпучился, глядя на отца, который сроду не молился, не крестил-

* Кокорина – бревно.

** Плеск – хвост.

ся. – Ой-ё-ё-ёшеньки... Такая вот жизнь: одне помирать, другие рожать... Ты смотри, парень, догуляешь, девка в подоле принесёт, сраму не оберёшься. На всё озеро ославишься... Верно дед сказал: женись и не придуривай.

– Ладно-ладно, все бы учили да учили... – отмахнулся сын.

– Вас не учить, так и добра не видать. Вы же теперичи по-путнему-то жить не хотите, всё норовите по-своему, а своего-то умишка с гулькин нос, вот и колобродите. Нет послушать, что старики говорят. Они худо-бедно век прожили, ума нажили.

И внука Спиридона, и правнука Кольшу смерть старика хоть и опечалила, но опечалила легко, как может опечалить голый, насквозь проглядный березняк, где на потемневших от дождей ветвях трепещут на ветру остатние жухлые листья. Исподволь утешает и греет верная надежда, что минет выюжная зима и по теплу опять народится клейкий младенческий лист, потом окрепнет и заиграет, засверкает под солнышком. Так же исподволь, в полноте неосознанно чувствует, что и человек весь не помирает, не оставляет насовсем юдоль земную, а будто нарождается и вечно продолжается во внуках и правнуках. Но ежели покинувший землю и не приживается в грядущей родове, то хотя бы душа его упокоенная витает подле живых и, может, в лунных снах и солнечных видениях, в поклонных поминаниях наставляет родичей на ладную жизнь.

Нет, внук и правнук не убивались по деду ни сейчас, ни потом возле могилки, куда ускользнул гроб: чего уж там шибко-то горевать, волосы рвать, когда старик уже зажил чужой век, когда лежал под святыми и желанно поглядывал в мохово, – на могилки, что темнели крестами и тумбами по высокому берегу.

Но если смерть не удивила – пожил дед, дай бог всякому столь прожить и небо не коптить – то и внука, и правнука изумила дедова добыча: в отсеке серебрился подойник, полный на диво крупных, прозываемых хармаками и капустанами, меднобоких окуней, а рядом, не уместившись в ведре, полёживали и вовсе отменные – такие, каких за всё лето пяток выудишь, так в пору Николе Угоднику свечку ставить, потом на ранешний манер обрызгать озеро святой крещенской водицей.

– И как он изловчился столь наудить, ума не приложу, – снова да ладом дивился парень. – Ни-ичё не понимаю. С месяц уж рыба не берёт...

– Да в октябре она сроду не клюёт, – кивнул отец. – До середины сентября ещё мало-мало тянет, а потом всё, как отрежет. Потом уж лёд встанет...

Спиридон, который взялся за удочку сразу, как отбил от материной титьки, сын его Кольша, ещё подростом перерыбачивший самого деда Анисима, – оба они лишь руками разводили.

– На такое, видно, место угадал, куда, может, раз в жизни и угадаешь, – смутно предположил Спиридон. – Либо уж подшаманил чего. А может, и Никола подсобил, Угодничек-то... Сроду никого не утруждал и на поминки решил сам наудить.

– На поминки-то, батя, маловато будет, – рассудил сын и вдруг, кинув вёсла, хлопнул себя досадливо по бокам. – Э-эх, дураки мы, дураки!.. Надо же было местечко-то приметить, маячок поставить. Вон дедово весло к его же бархаку привязать и пусть болтается. А я бы поутрянке выгреб и сети туда переставил.

– Да-а, не смикитили мы с тобой... А с другой стороны, поставил – и шиш бы чего поймал. Тут, Кольша, дело хитрое... Может, ещё под час такой подгадал старик... Да и этого, поди, за глаза хватит. У нас поминальщиков-то раз-два и обчелся. Хотя... Ежлив заимские-то все подвалят... Любили деда...

Удочки домовитый старик бережно смотал, обернул в чистенькую холстинку; берестяной чумашок из-под червей промыл в озере; и если бы Кольша не видел, лёжа с Тоськой под крутяком, как старик трусил в чумашок землицу, то можно было бы предположить, что наживы там и вовсе не было. Рыба в ведре и отсеке уже подсохла, из чего Спиридон вывел, что поймана была сразу после полудня, а значит, после полудня старик и помер. Не стал бы он, поди, сидеть сложа руки, без дела и работы.

– Ох сманило озеро, ох сманило, – опять завздыхал Спиридон. – Помню, раньше, как захворат маленько, всё просил, чтоб я койку ловчей поставил, ближе к окошку, чтоб озеро видать. Да всё, бывало, закрутишься, завертишься, да и без памяти. А старик лишний раз и не скажет, не попросит, бедный... А уж стал из ума выбиваться, третиво дни дак меня перепутал с батей моим, царство ему небесно: дескать, ты бы, Егор, на рожон-то не лез, а вписался в колхоз от греха подалее. Плетью обуха не перешибёшь...

– А дед-то мой... твой батя... мало пожил? – вдруг спросил Кольша, досель безразличный к своей родове. – Чё-то шибко уж рано помер!

78

– Добры люди подсобили... – сухо и отчуждённо отозвался Спиридон и с непроходящей, закоростевшей обидой поджал губы, но, немного помолчав, глядя в другую сторону от заимки, досказал: – Нас же у отца-то было ни много ни мало семнадцать ребят: пять девок да двенадцать парней. Дюжина... Это теперичи лишь тётки твои и зажились, да я шестой с имя. И те разбрелись по свету... Меня ещё и в почине не было, когда отец отделился и укочевал в Укыр. Я-то уж, паря, в Укыре родился – укырский вроде. Село тогда большое было, волостное, на тракту стояло. Церковь Спаса белокаменна... Своротили, фармазоны... Ну, как отец наш выделился, – матка сказывала, Царство Небесно, – сперва шибко худо жили, лопотины оболочкись, и той не хватало. Но потом, это, вроде обжились. Тут и братовья уже в годы вошли, наравне с батеи в работушку впряглись, да и девки не отставали. Дак и зажили куда с добром, и нужды не знали. Коров да коней, всякой мелочи – полон двор... А тут сбросили царя-батюшку, власть переменялась, и пошли кумунисты крепких хозяев потрошить, да с нашего двора и зачали. Я-то не видал, я как раз у деда на заимке рыбу удил. Я у него частенько гащивал. А матка видала... Как нажитое стали переписывать и на телегу грузить, отец не стерпел да в сердцах и кинулся с топором на раскулачников. Ну да там, видно, ребята крепкие подобрались, так отмутузили, что отец потом месяц кровью харкал. У деда на заимке и помер... Помню, просил меня, пока был в памяти, дескать, не бросай, Спиря, отца, на тебя вся надежда...

– И что, всё отобрали? – зашебутился возмущённый Кольша.

– Подчистую! Всё подмели, что горбом своим нажили. Тятя батраков сроду не держал. На покос другой раз помочи собирал, а как братовья мои старшие подросли, дак и без помочей управлялся. Робили от темна до темна и в кулаки угодили. Да... Добрых хозяев тогда подмели метёлкой, болтуны да непути остались... Э-эх, тогды-сегды прикинешь: поче жил, поче живёшь, а уж и смертушка не за горами, и такая тоска долит, что хучь рёвом реви. И на вас-то никакой надежи... Ну, да ладно, чё уж теперичи... А мне тётка Матрёна сказала, мол, ещё днём на пару сидели... У ней парнишонка тоже чуть не утонул. Едва, говорит, успела выдернуть... Ох манит озеро, ох манит...

Когда лодка с дедовым батиком подчалаила к дощатым мосткам, с которых заимские бабы

черпали воду, по небу уже рассыпались белые искры – звёздочки среди ещё белёсого, но уже мутнеющего вечного моря; по тихим его водам и уплывала на незримой лодке стариковская душа; иные звёздочки срывались, опадали, точно прибитые морозом бледные ягоды, и одна из них, как почудилось Спиридону, погасла над самой заимкой. Вот и закатилась дедова звёздочка, вот и не стало вековечного рыбака, правнука архангельского мужика, в пору великого раскола прикочевавшего сюда со своей суровой старой верой и срубившего на озернице некорыстное зимовье.

На берег прибежал чуть ли не весь заимский народ, молча вглядываясь в причаленную лодку. Тётка Матрёна, хлюпая носом, утирая мокрые глаза углом запана, снова да ладом поминала:

– Днём, это, ещё так бравенько с им сидели на солнушке, судачили. И в уме, и в памяти был. Гляжу, вроде одыбал старик...

Кинувшись к лодке, заголосила Спиридонова хозяйка, за ней подхватились и другие, и лишь мужики стояли молча, пристально вглядываясь в зачужевшее, заострённое, восковое лицо древнего рыбака.

* * *

19

Разбежались Тоська с Кольшей зад об зад, и кто дальше улетит; парень ударился в гульбу, а где гульба, там и драки с поножовщиной. И коротать бы тому век на тюремных нарах... Не раз спутанного по ногам и рукам запихивали буйного в районную каталажку... Да, слава Богу, забрали во флот, который на диво всей заимки словно подменил Кольшу – ушёл варнак варнаком, по которому тюрьма горько плакала, а через три флотских зимы вернулся серьёзным, круто замужичившим парнем. Погулять бы самое время с поспевшими деревенскими девахами, ан нет, заныла, затомила душу старая любовь, и опять с Тоськой схлестнулся, которая надеялась, ждала, отбиваясь от сватов да игривых заимских рыбаков. Может, и слепились бы... Уж и тёплое гнездо свили в районном селе, уж и Тоська от него брюхо нагуляла... Но не зажился яравнинский рыбак, загинал и уже не ведал, что Тоська нарекла сына в честь старика Анисимом, исполнила наказ старика.

Сомустили Кольшу после армии в рыбохрану, и не сказать, чтоб шибко ярился, гоняя загрёбистых рыбаков, а всё ж таки напоролся на злую пулю. Городской браконьер отпотчевал с хмель-

ного зла... а как уж там вышло, бог весть, но отыскали его, бездыханного, в оглохшей моторке, которая сиротливо болталась на озёрных волнах. Погребли Николая Жданова на заимке, подле прадеда, чтоб уж не расставались наперёд, а Тоська, что убивалась на высоком становом берегу, на глазах постаревшая, поплёкшая, вскоре, прихватив чадо, уючевала в город к сестре, от туда завербовалась на строительство Байкало-Амурской железной дороги да и сгинула с концами, ни слуху ни духу. Сколь ни писали Спиридон со старухой в разные края, отыскивая бывшую молодуху (шибко хотелось внучонка поглядеть, Кольшино семя), но всё без проку.

После деда Анисима и его правнука, Царствие им Небесное, недолго зажилась и прибрежная заимка Яравна; рыбалку наполовину сократили, потому что обезрыбело озеро, и рыбацкие семьи уючевали по деревням и сёлам. Теперь, когда минуло тридцать с гаком, даже бугорки от бывших изб и баракон затянулись сбежавшим с хребта звонколистым березнячком и осинничком, сиренево украсились чащобами иван-чая. Сгнили, завалились кресты на могилах, и Спиридон Жданов, уючевавший на другое озеро, малое, непромысловое, с трудом нашёл после долгой отлучки дедов бугорок, благо, что хоть мета вспомнилась верная: торчащий искрошенным старческим зубом срезанный молнией дородный листовик с давно уж облезлой шкурой, выдубленный и выбеленный на озёрных ветрах. Комель порос мхом и брусничником, и рясно высыпала крупная тёмно-вишнёвая ягода.

Под старость и характером, и обличкой сивобородый Спиридон стал шибко походить на деда Анисима, разве что ворчливее и сумрачнее старика. Ну да и время такое приспело, пропади оно пропадом, – фармазоны-верховоды спихнули страну и народ в срам, нищету и отчаянную гульбу, а сами под шумок растащили всё, что с кровью и потом наживали отцы, деды и прадеды. Или уж светопреставление близ дверей, – скрёб Спиридон то морщинистую плешь, то реденькую, ковыльную бородёнку, – или уж чудо спасёт народишко русский. На чудо и осталась одна недёжа.

В Яравну привёз его на легковушке «Ниве» старший сын Пётр, широкий, что поставь, что положь, пожизненно начальствующий в районном селе Сосново-Озёрск, красномордый, одутловатый, с тяжёлыми синими мешками в подглазьях; видать, быстро ухайдакали сивку крутые горки,

по каким скребутся вверх начальники – горюны-печальники.

Спиридон в чёрном пиджаке, что топорщился коробом, словно седёлка на корове, посиживал на переднем сиденье возле сына, который и вёл «Ниву». На заднем сиденье без умолку, наперебой поминая яравнинское житьё-бытьё, шумно вздыхая, теснились две мужние Спиридоновы дочки, приехавшие погостить к отцу-матери. Пожили городские гостеньки у родителей, сбежали по ягоды, грибы, навестили в Сосново-Озёрске тулдунских подружек и, наконец, стали упрашивать Петра, чтобы свозил в Яравну. Может быть, и не решились бы... Чего уж там, господи, смотреть, коль ничего не осталось от бедной заимки... Но отец настоял, чуя, что когда ещё выпадет случай навестить дедову могилку, когда ещё сможет уломать Петра, чтоб отвёз на заимку. А тут девки прилипли к брату: свози да свози, тот и не смог отказать городским гостенькам.

Лишь миновали былую поскотину, мягко покатали по замуравевшему просёлку... А ведь улица была вдоль и поперёк исхожена, испета и оплакана... Сёстры запричитали, уставившись в окошки, за которыми уплывали и охлёстывали машину тонкие осинки и берёзки. А когда миновали свою бывшую усадьбу, ныне цветущую сиреневыми кустами иван-чая, сёстры в голос завывали. У Спиридона, как ни тужился, ни крепился, а тоже в глубоких, морошных глазницах засветились слёзы. Даже Пётр посерел опухшим багровым лицом, и по набрякшим скулам запохаживали взад-вперёд тугие желваки; задёргался, точно в тике, правый глаз, и тяжелее набухли синеватые мешки под глазами. Он крепче ухватился за баранку, злее и настырнее уставился в стекло, за которым выростали миражами яравнинские избы и бараки, а подле счерневших листовничных венцов бесплотными тенями маячили рыбаки, уючевавшие с озёрища или, как дед Анисим, давно уже отчалившие к засиневшим осенним небесам.

На скалистом берегу озера спешили. Вышли гости, потыкались туда-сюда среди чащобного березнячка и осинничка, пошарахались из стороны в сторону, запинаясь о притаённые в белёсом ковыле полусгнившие кресты и тумбочки, и лишь по обломанной листовничной сушине... она неожиданно озарила Спиридонову память... отыскали могилку деда Анисима. Сёстры, от роду мокроглазые, жалостли-

20

вые, опять дружно заголосили. И вопили даже не по своему прадеду... Помнили его мутно, ощущением сухого, тёплого покоя и ласки... Они плакали всё по той же родимой заимке, где до обидного быстро пролетело раздольное лесное и озёрное малолетство, где осели, поросли наглухо быльём и ромашкой, словно канувшие заимские дворы, наивные и блажные девчоночьи мечты. По себе, как и бывает на могилках, плакали и причитали сёстры.

– Ну, хва, девки, хва, – сердито осадил их отец, которому вопли дочерей болезненно щемили изношенное сердце. – Могилку приберите. А мы уж пойдём с тобой, Пётр, крест вырубать.

– Сказал бы в Сосновке, я бы железную оградку заказал, и тумбочку бы мигом сварили, – проворчал Пётр, закуривая вторую сигарету подряд.

– Да уж крест срубим, и то ладно, – досадливо отмахнулся Спиридон.

Утихомирившись, просморкавшись в платочки, отчего нежно заалели кончики носов, сёстры начали хлопотливо прибирать могилку: с корнем повыдёргивали мелкие осинки и берёзки, выпололи траву, оставляя на взрыхлённой земле пучки ромашки. Спиридон долго маялся с листовничным крестом, вырубая под «ласточкин хвост» пазы для перекладин. Пётр только мешал, лез под руку, опахивая отца табачным чадом... Но худо-бедно сладил мужик крест о семи концах; и, когда врыли его поглубже в обихоженный девками бугорок, на двух затёсанных поперечинах выскребли ножом мало-мальску надпись, дескать, здесь улёгся на вечный покой пожизненный рыбак, честный труженик Жданов Анисим Мартемьянович, ста трёх лет от роду. Господи, упокой его душу.

Ближе к вечеру сели помянуть, достав из машины блины и брусничный кисель, приладив возле свежего креста рюмку с водкой и пару окуней горячего копчения. Пётр хотел отпотчевать деда Анисима ломтём жирной пеляди, но отец велел положить окуней – земляков, поскольку про рыбу-пелядь, запущенную и разведённую в озере лет пятнадцать назад, покойный и слыхом не слыхивал.

Несколько раз неловко, отвычно перекрестившись, Спиридон прошептал то, что всегда было на слуху:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, упокой душу раба Божиего Анисима и прости его

прегрешения вольные и невольные... Ну, с Богом. Помянем. Царство тебе Небесное, деда... Все там будем рано ли, поздно ли... – Спиридон поднял гранёный стаканчик.

Пётр, выпивший охотно, но тяжело, сквозь зубы, весь переморщился-перекоксился и стал торопливо закусывать.

– С этой работой всю гулянку забросил, – пошутил он и тут же налил себе наособинку и выпил. – Уф!.. Крепкая зараза! Так и пить разучишься.

– Оно бы и ладно, – сердито буркнул Спиридон, – хошь здоровье бы сберёг. Оно ить входит золотниками, а выходит кулями... Ты, паря, на выпивку шибко-то не налегай – чай за рулем... А дедко-то наш сроду винцом не баловался, – Спиридон усмешливо глянул на рюмку, умощённую возле креста. – И табачишшем рот не поганил. Одно слово, старовёр... Вот и век ладно прожил...

– Да-а-а... – закурив сигарету, жалостливо протянул сквозь дым Пётр, – долго дед жил, а доброй жизни не видел. В каких штанах всю жизнь ходил, в тех и помер. Кроме рыбы, ничего путнего не едал.

Спиридон покосился на сына, хотел что-то сказать поперёк, но смолчал, уставился в озеро, где похаживали и пошумливали возле берега зеленоватые пенистые валы. Тут же, под самым берегом, свившись в мельтешащий клубок, с визгом бились о воду чайки – значит, поверху плавилась мелкая сорожка, а возле, охочие до неё, паслись, конечно же, крупные окуни и щуки.

– Нет, знали наши старики, где селиться, – оглядывая озёрное раздолье, подумал вслух Спиридон, – знал деда, где жить. Где ещё такое местечко сыщешь. Пазуха Божья... И тайга богатая, и рыбы полом... А уж места красивше, ей-бог, сроду не видал. Э-эх, жить бы да жить.

– Везде, батя, хорошо, где нас нету, – усмехнулся Пётр.

– Оно, конечно, хорошо, где вас, варнаков, нету, – отозвался Спиридон.

После деда заодно решили помянуть и убиенного Николу...

– Надо Кольшу поискать, – Спиридон, кряхтя, встал на ноги, оглядел забытое-заброшенное кладбище. – Где-то ближе к скале хоронили...

С горем пополам по ржавой звёздочке нашли сварную тумбу, утонувшую в осиновом подросте и дурнопьяной траве; карточка под стеклом до-

бела выгорела на солнцепечном углеве, суриковая надпись выветрилась, вымылась осенними дождями, и уж попробуй разбери, кто там лежит под сплетением древесных кореньев.

– Тоська-то красавица была, как сейчас помню, – грустно улыбнулась Спиридонова дочь.

– Да и наш куда с добром, под стать Тоське, – вздохнул Спиридон.

– Парни по ей с ума сходили, а она по Кольше убивалась. Жили бы да жили – такая пара. Если бы...

– Если бы да кабы – во рту бы выросли грибы, – жёстко осёк Пётр сестру. – Что Тоська, что наш, оба непути, к жизни неприспособленные. Пара сапог... Да наш ещё горячий, заполошный... Всё равно бы толку не было.

– Пошто? – заупрямился Спиридон. – Парень выгулялся, остепенился после флота...

– И какого хрена он права качал перед теми рыбаками?! – осерчало сплюнул Петро. – Жалко стало вонючего окуня... Пропади он пропадом...

Чтобы не тянуть пустопорожние разговоры, Спиридон вспомнил далёкое:

– Но рыбак-то Кольша смалу был – всем рыбакам рыбак. За то и любил его наш дед. Вот теперичи рядом и полеживают. Сошлись рыбаки навечно.

Помянув Кольшу, пожалев и его несчастную зазнобушку, вернулись к деду Анисиму, молча постояли возле свежего, будто светящегося среди зеленоватой лесной тени отмашистого креста. Спиридон вдруг суетливо стал собираться домой, заторопил дочерей, которые хотели ещё пройтись по мёртвой заимке. Похоже, ему, вдруг пуще остаревшему, сполна взявшему свои законные лета, больно стало от поминаний, как и горько... горше не придумаешь... было видеть заросли осинника и березняка там, где алела в зорях деревянная церквушка, окружённая избами, где прошла вся его добрая жизнь.

Перед тем как залезть в машину, Спиридон огляделся кругом и, перекрестившись, неведомо к кому обращаясь, не то к озеру, не то к заимке, не то к сыну с дедом, прошептал:

– Ну, прощайте, даст ли Бог ещё свидеться, не знаю. Прощайте да не поминайте лихом.

1987, 1996, 2004 годы



*Анатолий Байборodin и Сергей Куняев
на открытии памятника Валентину Распутину в Иркутске*